

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

НАЙДИ МЕНЯ В ЛЕСУ

АЛИСА БАСТИАН

Алиса Бастиан

Найди меня в лесу

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68443397

SelfPub; 2023

Аннотация

Тихий прибрежный городок Северной Эстонии: море, лес, свежий воздух... Убийство холодной ночью на территории заповедника – и привычное спокойствие жителей даёт трещину. Недоверие и подозрения, сплетни и слухи, обвинения и ложь... Понимание того, что убийца – кто-то из них. Но кто? И что ещё важнее – почему? Какая тьма скрыта в сердцах людей, живущих там, где обычно ничего не происходит?

Содержание

Пролог	5
I	7
1	7
2	11
3	14
4	17
5	21
6	23
7	29
8	30
9	35
10	38
11	40
12	42
13	45
14	53
15	57
16	62
17	65
18	68
19	74
20	80
21	82

22	84
23	86
24	88
25	90
26	94
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Алиса Бастиан

Найди меня в лесу

Пролог

Тело оставляло на влажном песке длинные следы, сквозь которые просачивалась вода. Из-за облака выглянула луна, осветив троих, и стало очевидно, что *таких* явных следов лучше не оставлять.

– Придётся нести, а не тащить.

Тихие слова повисли в ночной тишине залива Хара.

– Слышишь?

Сфинкс покачал головой, ссутулился.

– Не... Надо...

Он совершенно не хотел прикасаться к телу.

– Заткнись и помоги мне! – раздалось злобное шипение. –

Хватит стоять!

Сфинкс захныкал, но подчинился. Ему досталось держать за плечи, и близость к лицу, застывшему навсегда, заставляла его отворачиваться, не смотреть, не думать о том, что они натворили.

Они решили отнести труп в лес, но ветер донёс до них чей-то смех. Это змей, подумал Сфинкс, он пришёл за нами, сведёт нас с ума, заставит во всём признаться. Тело, что

они несли, внезапно напряглось. У Сфинкса по спине потёк ледяной пот, но оказалось, что он просто не остановился, а машинально шёл дальше, тянув застывшее тело на себя.

– Стой, придурок.

Они стояли и прислушивались. В лесу кто-то был, это точно, и бог знает, кто и чем там занимался, но им явно было весело. Сфинкс вспомнил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Самое время для веселья.

Или убийства.

– Мы не сможем нормально спрятать тело. Его всё равно найдут.

Сфинкс подумал и кивнул. В лесу кто-то появился, а на пляже в темноте вариантов у них не так много. Он посмотрел на чёрную спокойную воду – они решили занести жертву подальше в залив и там бросить. Но что-то не давало ему покоя. Не жалость, нет, – не после того, что они сделали, – ощущение незаконченности. Сфинкс повернул голову и увидел знакомые очертания, графично застывшие в лунном свете.

Вот оно. Пусть и далеко от совершенства, но всё-таки лучше.

Они положат тело в погребальную ладью.

I

1

Однажды убил – клеймо навсегда. Даже не на всю жизнь. Навсегда. Умрёшь от какой-нибудь болезни или несчастного случая – будут говорить: поделом этому убийце. Умудришься дожить до старости – вот же тварь, живёт себе как ни в чём ни бывало, всех нас переживёт. Когда наконец сдохнешь, твой дом никто не захочет покупать, потому что в нём жил убийца. Через десять лет после твоей смерти, если в этом захудалом городишке не произойдёт чего-то поинтереснее, о тебе будут вспоминать. Может, и через двадцать. Столько, сколько им захочется. Бесконечно долго. Не по имени. Не по прошлым заслугам.

Просто – убийца.

Им плевать, что ты отсидел положенное. В их понимании это просто невозможно. Потому что для них положенное за *такое* преступление, за убийство *этого* человека – смертная казнь, сотни, тысячи смертных казней подряд. Без намёков на возвращение в родной городок. На случайные встречи в магазине. Без права снова дышать одним воздухом с ними.

Вот только они ничего не знают. Они не имеют права судить его. Суд – да. Но не они. Потому что десять, двадцать,

тридцать лет они ошибались. Или прикрывались неведением. Расмус не знал, что хуже. В общем-то, теперь ему было всё равно.

Он просто их ненавидел, потому что они ненавидели его. Он презирал их, потому что получал презрение от них. Что ни говори, у них было что-то общее. Может, даже больше, чем «что-то», ведь Расмус Магнуссен прожил в этом городе всю свою жизнь. Не считая, конечно, лет, проведённых в тюрьме.

Но были и отличия.

Во-первых, только он знал, что и почему произошло на самом деле. Они не знали правды и никогда уже не узнают.

Во-вторых, они его боялись. Он не боялся уже никого. Единственного человека, способного вселить в него страх, он убил собственными руками, и с тех пор страх был ему неведом. Так было в тюрьме, так будет и на свободе.

В-третьих, хоть они и будут всячески ему мешать – делом, словом, взглядом – ох уж эти проклятые взгляды! – он собирался начать новую жизнь и не оборачиваться на прошлую.

Назло им всем.

Это оказалось тяжелее, чем он думал.

За годы в тюрьме он набрал и вес, и форму, и теперь, при росте метр девяносто, с чёрными волосами и угрюмым взглядом карих глаз, в широкой чёрной толстовке и чёрной же дутой старой куртке, даже без клейма убийцы на лбу вну-

шал окружающим неприятный трепет. Да что уж говорить...

Расмус был симпатичным и до, и после тюрьмы – при правильной стрижке и одежде (может, ещё с парочкой аксессуаров), даже со своими диковатыми глазами, он мог бы сойти за какого-нибудь захудалого рок-музыканта. Он знал это, но ему было всё равно. Он выглядел как бомж-убийца, опасный элемент, и это его вполне устраивало. Его всегда устраивала правда.

Внешний вид будет отпугивать их, чтобы не лезли.

Внешний вид будет соответствовать его душе.

Пятнадцать лет в тюрьме нанесли ей меньше ранений, чем пятнадцать дней в родном городе. Это действительно оказалось тяжелее, чем он думал.

Когда идёшь по улице, никого не трогая, и все переходят на другую сторону.

Когда приходишь в бассейн, и все невзначай перемещаются не только с твоей дорожки, но и с соседней.

Когда детям показывают на него пальцем и говорят что-то, что заставляет их округлять глаза, а потом спешно уводят их подальше.

Никогда не подходи к этому человеку.

Когда кассир в продуктовом не поднимает глаз, озвучивая сумму покупки и давая сдачу.

Когда заходишь в автобус и здороваешься с водителем, но он не здоровается в ответ.

Когда хочешь записаться в парикмахерскую, но тебе го-

ворят, что всё расписано и свободного времени нет, хотя ты ясно видишь пробелы в разлинованном планировщике.

Когда поднимаешь в приветствии руку проезжающей машине бывших друзей, но они лишь сильнее давят на газ.

Иногда Расмус жалеет, что они объезжают его, а не едут напрямик по его телу.

Ещё бы, ведь все они – её дряхлые коллеги, постаревшие знакомые, повзрослевшие ученики. Друзья друзей, знакомые знакомых, родственники родственников. И просто те, кто не хочет выделяться, следует за толпой безмозглых зомби, роботов, не имеющих своего мнения, не располагающих фактами. Все они знают, *что* он сделал, и считают нужным это продемонстрировать. Но никто из них не знает, *почему*.

За всё то время, что он провёл в городе после освобождения, только один человек ни разу не упрекнул его ни словом, ни взглядом. Единственный, кто смотрел ему в глаза. Пусть и озвучивая сумму. Кто относился к нему как к обычному человеку. Нора, единственный кассир в трёх магазинах, которая была с ним вежлива.

Которой, кажется, было наплевать, что он убийца.

А может, ей было наплевать вообще на всё.

Ему это нравилось.

2

В каждом эстонском городе имелся свой мэр, и Локса исключением не была. Урмас Йенсен, бывший старейшина Харьюского уезда, центрист и крайне жадный до власти политик, получил должность после того как его жена, Хельга Йенсен, занимавшая этот пост последние пять лет, неожиданно скончалась от сердечного приступа, оставив его с юной дочерью и непомерно раздувшимися амбициями. Урмас скорбел, но недолго – у нового мэра оказалось слишком много дел, в том числе и незаконченных женой. Хельга упала на колени и стала задыхаться прямо у здания городской управы, случайный прохожий вызвал скорую, понимая, что уже поздно, и когда Урмасу наконец сообщили о её внезапной смерти, первой же его мыслью было *теперь городу нужен новый мэр*. О Хельге и о дочери Камилле он подумал только во вторую очередь. И горсобрание почти единогласно проголосовало за Урмаса. Впрочем, как ни странно, других кандидатур выдвинуто не было.

Урмаса выдвинул его друг и по совместительству председатель ревизионной комиссии горсобрания, с которым они по выходным вместе ловили форель в Котка, тоже центрист. Старейшиной Харьюмаа Урмас пробыл четыре года, и всё это время он был вполне доволен жизнью, пока однажды Юхан Лейман, министр по делам регионов, не пронюхал,

что Урмас не считает взятки чем-то неподобающим политикой. Доказательств тогда так и не нашли, но Йенсена от должности освободили, потому что он незаконно пользовался конфискованным у наркодилера внедорожником и не успел скрыть это от Юхана. Как потом сказал министр Лейман, он сформировал комиссию для выяснения этого вопроса после того, как ему порекомендовали провести дисциплинарное расследование в Харьюской уездной управе. В прессе в итоге преподали это как «министр и старейшина не сработались», не в последнюю очередь из-за того, что Урмас был в хороших отношениях с некоторыми руководителями СМИ. Он владел даром убеждения – и достаточным количеством денег – чтобы всё замять. Но Юхана Леймана он возненавидел крепко и на всю жизнь.

Первый же проект Урмаса на новой должности был весьма серьёзным: пятикилометровый современный трубопровод центрального отопления всего за каких-то полтора миллиона евро должен был сократить потери на трассе и снизить расходы на тепло. Часть проекта, продлившегося почти два года, была профинансирована Центром экологических инвестиций, оставшуюся сумму вложила компания по производству и распределению тепловой энергии.

«Трубопровод центрального отопления – это инвестиция в более экологичное будущее, и жители смогут сэкономить на отоплении», – заявил потом в интервью Урмас, перед этим больше получаса критично рассматривавший в зеркале

своё начинающее «плыть» лицо. В этом году ему исполнится сорок, но выглядел он на все пятьдесят. Они с Хельгой рано стали родителями, наверное, в этом и было дело. Или в том, что Урмас всегда хотел большего, лучшего, всего и сразу, и эта непрестанная гонка словно ускоряла его метаболизм, заставляла биологические часы идти быстрее, чтобы и здесь отличаться от других. А может, в том, что год политической жизни шёл за два года жизни обычной. В качестве мэра он планировал ещё не раз выступить на камеру, и стоило задуматься хотя бы о минимальной подтяжке лица. Благо, финансовое состояние семьи Йенсенов после прокладки трубопровода значительно улучшилось.

Урмас и его приближённые отлично ладили с финансовой отчётностью, сметами и схемами финансирования. Выдвинувший его друг уже присмотрел себе новый автомобиль, а сам Йенсен отложил Камилле деньги на обучение. Новые амбициозные и прибыльные проекты уже маячили на горизонте.

Политика была у него в крови.

Так же, как и жадность.

3

Когда-то они дружили. Он и Урмас Йенсен.

Когда-то – пятнадцать лет назад, когда он отправился в тюрьму.

Когда-то – двадцать лет назад, когда они подбивали друг друга пригласить Хельгу на свидание.

Когда-то в другой жизни. Вечность назад.

Йенсен всё понимал, но ничего не сделал. Ни разу не связался с ним в тюрьме. Ни одного посещения или звонка. Он просто стёр из воспоминаний лучшего друга, убийцу, вычеркнувшего пятнадцать лет из жизни. Уничтожил все улики его присутствия в своём прошлом. Ему, будущему депутату, такой друг был не нужен. Всё их многолетнее общение сверкнуло прощальным залпом в хмуром весеннем небе в тот момент, когда за ним пришла полиция. Расмус этого не учёл.

Когда спустя все эти годы он вновь оказался в городе, Йенсен был уже совсем другим человеком. Мэром. Отцом. Вдовцом. Расмус тоже мог бы стать таким. Не мэром, конечно, это дерьмо ему ни к чему. Отцом прекрасной дочери. Мужем замечательной женщины. Йенсен отнял у него эту возможность.

Она была прекрасным человеком, сказал Урмас полиции. Не представляю, как он мог. Я думал, он шутил. Урмас врал

впервые на памяти Расмуса, и он долго не мог понять, почему. Друг прекрасно знал, какова та, кого он убил, на самом деле единственный в мире, кто знал правду, с кем Расмус иногда делился тем, что скрывал от всех. Кто поддерживал его. И кто прибавил ему срок, вместо того чтобы сократить. Непредумышленное убийство превратилось в спланированное. Надежда выйти из тюрьмы и после этого всё ещё иметь впереди жизнь превратилась в прах.

Всё стало ясно, когда Расмус узнал, что Йенсен женился на Хельге.

Он встретил его в первый же день возвращения в город. Даже не успел дойти до своего полуразвалившегося дома. Он шёл по шоссе, дыша простирающимся вдоль дороги хвойным лесом, и думал, с чего начать новую жизнь. То, что от неё ещё осталось. Если осталось хоть что-то. Мимо проехала чёрная новенькая «ауди», слегка притормозила впереди, обожгла красными габаритными огнями. Остановилась, словно неуверенная, что делать дальше. Расмус замер. Стёкла были тонированными, он не знал, кто в машине. Но почувствовал. Сделал шаг вперёд, другой и уже почти мог коснуться рукой лакированного пластика багажника. «Ауди» рванула с места и скрылась за поворотом, словно его прикосновение было бы смертельным. Разрушающим жизнь её водителя, предателя и лжеца, укравшего его любовь и его время. Теперь он – угроза, отравка, язва. Расмус стоял посреди

дороги, слушая шум ветра в сосновых кронах. Ещё недавно он думал, с чего начать.

Но начинать было нечего.

Осталось лишь одно незаконченное дело. Только оно, и только ради этого стоит держаться здесь на плаву. Урмас Йенсен должен страдать.

И он будет страдать.

4

Аксель Рауманн был столичным жителем до мозга костей, и решение поехать в такую глушь, как Локса, далось ему нелегко. Хотя это и был вполне приличный городок, не какой-нибудь там хутор или деревенька без магазинов, внутри у Акселя всё заныло, когда он приехал на автовокзал. Автовокзал представлял собой пару скамеек под навесом, над которым кричал крупный белый рубленый шрифт слова «ЛЮКСА». Рядом красовалась потёртая вывеска то ли клуба, то ли бара, но в дверь возле одной из скамеек, выглядевшую как что-то из другого тысячелетия, Рауманн не зашёл бы, даже если бы это был единственный бар на Земле. Первые впечатления уже давали плоды: Акселю хотелось уныния и депрессии, чтобы написать что-то драматичное, и он уже начал в них погружаться.

Однако кроме «автовокзала» с «клубом-баром» посмотреть было на что. Разумеется, Аксель приехал именно сюда из-за природы, моря, песчаных пляжей, зелёных лесов, Лахемааского заповедника. Жемчужина Северной Эстонии, Локса была прекрасна, этого он не мог не признать. Но постоянная жизнь в этом месте его бы убила.

Обойдя почти весь город и сравнив впечатления с теми, что возникли у него во время подготовки к поездке (состо-

явшую из просмотра карты, фотографий и расписания автобусов), Аксель остался скорее доволен, чем нет. Он снял небольшой уютный домик поближе к заливу, у самого леса, отделяющего городок от береговой полосы, и прожил здесь уже несколько дней. Локса могла похвастаться тремя продуктовыми магазинами, два из которых были вполне себе приличными супермаркетами, аптекой, культурным центром и даже библиотекой. По меркам жителей других городков это было невероятно круто. По меркам Акселя это давало шанс на выживание здесь ещё какое-то время. Если отбросить то, ради чего он приехал, те главные сокровища, которыми могут похвастаться только прибрежные города, окружённые лесами-заповедниками, в сухом остатке звенели лишь безнадёжность, скука и тихое отчаяние. Аксель слышал их в советском заброшенном универмаге с выбитыми окнами; в пёстрых и убогих субботних ярмарках – единственном развлечении жителей; в пьяницах, перманентно ошивающихся около продуктово-алкогольного магазинчика; в окнах домов, темневших уже после девяти вечера. В Таллинне после девяти вечера жизнь только начиналась. Для него Локса была как расстроенное пианино. Клавиши вроде те же, но звучание размытое, ненастоящее. Не жизнь, а её подобие. Не хватало резкости, звонкости, чистоты. Хорошо, что Аксель не сглупил и не поехал в деревушку или посёлок типа Суурпеа или Вийнисту. Он бы уже сошёл с ума.

Здесь даже была музыкальная школа – естественно, не

идущая ни в какое сравнение с таллиннскими, но всё же. И были концерты. Учеников и бывших учеников, добившихся хоть каких-то успехов. Для Акселя успехи без окончания Консерватории не укладывались в голове, но на несколько концертов, как раз идущих в неделю его приезда, он сходил. Играли либо от души, но фальшиво, либо чисто, но без души. Город, где нельзя было послушать *настоящее* исполнение, или, например, большой оркестр или оперу, не был для Акселя городом. Будь в нём хоть десять музыкальных школ.

У Рауманна был абсолютный слух, но на мир вне музыки он не распространялся. Он умирал от малейшей фальши в произведении, но не распознавал фальшь в людях. Особенно это касалось лести. Вполне возможно, он был прекрасным композитором, и слушатели действительно восторгались его музыкой, но между ценителями и льстецами пролегла бескрайняя пропасть, а самооценка и потребность в признании Акселя легко перекинули через неё мостик. Рауманн слышал любое отклонение на шестнадцатую тона, но не слышал отклонений и сигналов в поведении. Его чуть не избили около «Мейе», и он так и не понял, почему: то ли из-за велюрового пальто (*эй, столичное пальтишко, вали отсюда*), то ли из-за шёлкового (*пидорского*) шарфа, то ли из-за его предельно вежливой, абсолютно правильной речи, то ли из-за всего вместе. Одно он знал точно: это пьяное быдло – лишь мусор, навсегда лишённый способности воспринимать красоту. А страшнее этого ничего быть не может.

Аксель жил в своём музыкальном мире, не имея потребности изображать жизнь в мире реальном. Только Ритта как-то привязывала его к обыденности, иначе он бы уже улетел, как воздушный шарик, и неизвестно, к чему бы это привело. Здесь он был ради вдохновения и нового альбома. Решив поменьше ходить по городу (особенно в районе «Мейе»), Аксель всё внимание уделил локсаским пейзажам.

И это было правильно.

Нора Йордан не увлекалась литературой, но с Марком Твенем была полностью согласна: на смертном одре она будет жалеть о том, что мало любила и мало путешествовала. Она уже об этом жалела, остро чувствуя, что прожила больше половины отмеренной ей жизни, не сделав ничего, о чём можно было бы вспомнить перед смертью.

Нора родилась в Локса и там же собиралась умереть. Пределом её путешествий была столица, которая – в основном из-за туристов – казалась ей слишком шумной и не стоящей полутора часов дороги на автобусе (а потом столько же обратно). Нора могла убеждать себя, что просто не любит путешествовать, но убедить себя в том, что ей не нужна ничья любовь, было выше её сил. У меня просто нет возможности познакомиться с кем-то нормальным, думала она, не желая приложить усилия, чтобы такую возможность найти. Все, кто хоть немного её привлекал, были женаты, а редкие локсаские холостяки, в основном заводские рабочие, симпатий ей не внушали. Из всех мужчин, с которыми она могла бы пообщаться в их городе, Норе слегка нравился только Олаф Петерсен, сосед, женатый на извращенке Марте. Да и то потому, что его она видела чаще остальных. Правда, недавно приехал Магнуссен, которого, если постричь и приодеть, можно было бы считать привлекательным, если бы не его пятна-

дцатилетний «багаж», о котором теперь знали даже те, кто раньше понятия не имел. К тому же у них с Расмусом вообще не было ничего общего. Новоприбывшего напыщенного юнца Акселя Нора в расчёт не брала.

Она работала кассиром в «Гросси» с момента его открытия, и за это время сменились десятки её коллег. Кто-то вышел замуж, кто-то уехал, кто-то вышел замуж и уехал. Только Нора оставалась на своём месте, не изъявляя желания что-либо изменить. Она даже не соглашалась на повышение, которое ей не раз предлагали: не хотела перемен, хотя и понимала, что пробивать товары с утра до вечера – для многих лишь старт в торговой отрасли. Для неё это не было стартом, потому что никаких целей тоже не было. Нору устраивали её механическая работа, отсутствие подруг и семьи, бесцельность существования, в которой она прекрасно отдавала себе отчёт.

Устраивали, пока однажды она не проснулась сорокапятилетней, слегка одутловатой и совершенно несчастной женщиной, взглянувшей, наконец, правде в глаза.

Вторым, кого он встретил, вернувшись в город, был Кристиан Тинн. Расмус стиснув зубы шёл по дороге домой, не переставая думать о чёрной «ауди» Йенсена, газанувшей от него прочь. Но вид дома его матери, в котором он, как и она, прожил всю свою жизнь, заставил его замереть. Застыть, забыть обо всём, раствориться в скорби. Не по матери – ей его скорбь ни к чему. По дому. По себе. Не по тому, что от них обоих осталось. По тому, чем они когда-то были.

За пятнадцать лет почти без ухода и участия деревянный дом наполовину развалился. Дожди, снег и ветер, не жалевшие старое дерево, заставили его где-то почернеть, где-то заплесневеть, где-то отвалиться. На крыше рос мох, крыльцо заросло метровой травой, теперь пожухшей и поникшей. Замок заржавел, и Расмусу понадобилось больше десяти минут усилий, чтобы его открыть. Ломать и без того уставшую на вид дверь ему не хотелось. Ни её, ни что-либо ещё. К его удивлению и радости, комнаты сохранились почти прилично. Снаружи дом выглядел гнилым, но внутри был вполне жизнеспособен.

С Расмусом было наоборот.

Сестра его почившей бабушки помнила Расмуса ещё ребёнком. Мать не жаловала тётку, так что они не общались, но

когда случилось то, что случилось, дом достался именно ей. И она, не в силах понять тихого спокойного мальчика, подросшего и попавшего в тюрьму за убийство, решила оставить дом, а не избавляться от него.

По неведомой Расмусу доброте сердца она хотела, чтобы ему было где жить после отсидки. А может, ей, жившей в Раквере, просто лень было заниматься какими-то продажами или переездами. Один раз она сделала в доме уборку, выбросив из холодильника и со стола уже начавшие портиться брошенные продукты, и лишь раз в год проверяла, цел ли дом, не разбил ли кто в нём окна или не поджжёт его. Расмуса она не навещала, лишь иногда черкала записки про дом, и на его благодарственные ответные письма не реагировала.

Всё-таки он убийца.

Ему дико хотелось есть, но сначала он решил прибраться. Нашёл совок и веник, вымел пыль и песок, подмёл крыльцо. Открыл окна, чтобы проветрить застоявшийся запах смерти и унижений.

Когда Расмус вышел из дома с намерением купить продуктов, он увидел Кристиана Тинна. Тот тоже его увидел, но поверить своим глазам не мог. Тинн понятия не имел, что Магнуссена выпустили. А если бы и имел, не подумал бы, что тот вернётся в их городок. Они застыли каждый на своём крыльце, словно удав и кролик, хотя Расмус не имел ничего против Кристиана. Пятнадцать лет назад Кристиан не имел ничего против Расмуса, но всё же сообщил в полицию

об убийстве.

Об этом его попросил сам Магнуссен.

Так и сказал – я убил свою мать, вызови полицию. Развернулся и пошёл обратно к дому. А Кристиан так и остался стоять, наконец проснувшись, переводя взгляд со спины Расмуса на кровавый след там, где тот неосознанно взялся за перила. Потом сделал то, о чём его попросили. И больше не выходил. Когда приехала полиция, Кристиан задёрнул занавески, чтобы отгородиться от происходящего. Спрятаться в своём маленьком мирке, где соседи не стучат к тебе с рассветом и не сообщают об убийствах своих матерей. Где родители не толкают своих детей за край, в объятия тьмы, завладевающей ими безвозвратно. Но занавески не помогли. Кристиану всё равно пришлось общаться с полицией, потому что их интересовало, кто её вызвал, да и многое другое тоже. Всё-таки они были соседями. Не слишком близкими, между их домами было метров двадцать пять, но других домов в этом углу города не было вовсе.

Сейчас, когда Расмус вернулся, Кристиану больше всего хотелось снова задёрнуть занавески, но он не мог даже пошевелиться. За пятнадцать лет Магнуссен превратился в кого-то мощного и устрашающего, и вся эта мощь и устрашение неожиданно обрушились прямо на Кристиана, за те же пятнадцать лет практически не изменившегося. Расмус посмотрел немного на него со своего крыльца, помедлил, поднял руку в неуверенном приветствии. Кристиан знал, что

стоит сделать то же. И знал, что остальные этого делать не будут. Изгои, отбросы, маргиналы – не те, с кем стоит здороваться. Магнуссен уже никогда не будет таким, как все, и Кристиан понял это раньше, чем сам Расмус. Тинн ненавидел слепое большинство, но чтобы выжить, нужно ему следовать. Поэтому он не поднял руки. Расмус отвернулся, подёргал ручку двери и пошёл к Кристиану.

Когда они поравнялись, Тинн опустил глаза. Ему хотелось вернуться в дом, но что-то удерживало его на месте. Рука его лежала на перилах, которые пришлось перекрасить. Кровь с ладоней Магнуссена тогда так и не отмылась от дерева. Они оба знали, что кровь с его ладоней не отмоется уже никогда. Но Расмус всё ещё отказывался в это поверить. Он прошёл мимо Кристиана, даже не взглянув на него. А может, наоборот, испепеляя его яростным взглядом. Тинн понятия не имел, потому что так и не нашёл в себе сил поднять глаза. Расмус скрылся за поворотом, и Кристиан наконец вдохнул, с удивлением обнаружив, что всё это время не дышал. Он зашёл в дом и осторожно прикрыл за собой дверь. Закрыв занавески, хотя на дворе стоял день и вокруг никого не было. Заварил себе чай. И позволил себе признаться: он прекрасно знает, что именно удерживало его на крыльце. То, что многим другим не помешало бы уйти. Он чувствовал вину, хотя это и было иррационально. Магнуссен сам попросил вызвать полицию, и он совершил убийство, так что никакой кристиановой вины тут не было. И всё-таки. С Тинном редко случа-

лось что-то серьёзное, и тот случай он принял близко к сердцу. Он многое принимал близко к сердцу, это было его самым мешающим жить недостатком. Что-то внутри него сидело и совершенно иррационально твердило: это ты отправил его в тюрьму, это ты настучал полиции, так что стой, где стоишь. Раз уж ты боишься пойти наперекор другим, так хотя бы стой. Не поворачивайся к нему спиной.

Скоро Расмус узнает, что спиной к нему повернулся весь город. Что из нескольких углей может разгореться пожар. И что пожару всё равно, кто сгинет в его пламени.

Лишь бы кто-нибудь сгинул.

Урмас Йенсен, несомненно был шокирован, увидев Расмуса. Особенно учитывая то, что он сделал. Оболгал его, чтобы жениться на его девчонке. Избавился от друга, который не принесёт пользы, запятнает его будущую репутацию. Расмус всё это знал, поэтому хоть реакция Урмаса в своей «ауди» и ударила его в сердце, боль быстро прошла. Но Кристиан Тинн, сосед, которому он ничего не сделал, не был его другом или врагом. Он был простым жителем, встретившим пятнадцать лет отсутствовавшего соседа. Расмус мог никогда не вернуться, вообще не дожить до сегодняшнего дня, но он был здесь, и он пришёл с миром, как бы это ни звучало. Через пару дней до Магнуссена наконец дойдёт, что его здесь не ждали. Но тогда, на крыльце, он искренне верил в свой город. Он прибрал свой дом, собрался в новый магазин, которого здесь пятнадцать лет назад не было, и встре-

тил старого соседа, который был. Такой простой жест. Привычный, обыденный. Его не замечаешь, когда он есть. Лишь остро чувствуешь его отсутствие. В первый же день в душе Расмуса начал тлеть уголёк. Неожиданный, маленький, самый тёплый. Скоро у него их будет на целый камин. Но тот первый уголёк обжёг его сильнее других. К нему он не был готов. Тот момент он запомнит навсегда.

Когда Кристиан не поднял руки в ответ.

Родители Урмаса были алкоголиками, поэтому его растила бабушка по отцовской линии – Грета Йенсен. И вырастила она его как смогла. Воспитать отца Урмаса у неё не вышло, поэтому вторым шансом она воспользовалась с несвоевременной ей пылкостью. Урмас привязался к Грете, как и она к нему, и вместе они составляли колоритный, слегка дерзкий дуэт. Грета была суха как щепка, любила дочерна загорать на солнце, пила по три чашки кофе в день и никогда не выключала радио.

Пока другие играли в машинки и солдатиков, Урмас смотрел серьёзные передачи по телевизору и неинтересные другим детям серьёзные журналы в магазине. Он рано понял, что быть взрослым – лотерея. Можно стать алкоголиком или президентом, и даже сначала президентом, а потом алкоголиком. Жизнь может преподносить неприятные сюрпризы. Но Урмас не собирался играть в лотерею. Он собирался вытаскивать из лотерейного барабана выигрышные номера. Поэтому он смотрел не на мельтешащие цветные кляксы мультфильмов и комиксов, а на людей в деловых костюмах, излучавших успех и довольствие своей удавшейся жизнью. Ещё тогда Урмас решил, что будет носить такой же костюм. Самый дорогой, сшитый на заказ.

Во что бы то ни стало.

8

Нора не всегда была одинока. Когда-то она была замужем. Никто, кроме её матери, ныне дряхлеющей в доме престарелых на углу улиц Мянни и Таллинна, об этом не знал. Но она была не в счёт, как и те, кто регистрировал брак.

Луукаса Нора не любила – по крайней мере, была в этом уверена, пока не потеряла его, – но он был ей симпатичен, и этого оказалось достаточно, чтобы выйти за него замуж и начать лепить под себя. Луукас оказался очень податливым, почти гуттаперчевым, и вскоре Норе наскучило исправлять в нём недостатки, которые ей не удавалось исправить в себе, и она начала кампанию по проявлению заботы. День за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем Нора старательно смешивала заботу с контролем в большом блестящем сосуде с надписью «любовь», пока не получилось нечто маниакальное, а затем стала поливать Луукаса этой красивой, золотой, но липкой и сковывающей движения смолой. В конце концов не проходило и получаса, чтобы Луукас не получил заботливый выговор за то, что неправильно сидит за столом (выпрями спину), неправильно ест (нельзя так торопиться; не ешь такое горячее, пусть немного остынет), неправильно чистит зубы (не так быстро!), неправильно читает (слишком тусклый свет!), неправильно спит, дышит, существует. Пристегни ремни в автобусе в Таллинн, дождись зелёного све-

та на светофоре в столице, встань в очередь, где меньше людей, возьми кефир подальше на полке – там свежее, приди на пять минут пораньше – это лучше, чем опоздать, поздоровайся с кассиром, сходи на залив, ходьба полезна для здоровья, выпей зелёный чай, меня не интересует, что он тебе не нравится, я же о тебе забочусь. Норе было всего тридцать, но пилила она не хуже сорокалетних. Гуттаперчевый Луукас протянул полтора года, прежде чем лампочка в его патроне жизни вспыхнула последней искрой и перегорела. В сотый раз слыша от жены *да пристегнись же ты, дубина*, Луукас понял, что больше так продолжаться не может. Половина автобуса не пристёгивалась, а жена при каждой поездке в Таллинн прилюдно отчитывала его как ребёнка. Луукас был вполне упитан, и ремень неудобно пережимал ему туловище, создавая дискомфорт. В тот день Луукас впервые решил, что дискомфорт от неповиновения жене, возможно, стоит свеч.

Категорический, демонстративный отказ Луукаса пристёгиваться не поверг Нору в шок. Она и сама устала от постоянного контроля за непутёвым мужем, но остановиться уже не могла. Нора выдохнула и отвернулась к окну. Луукас, довольный, но слегка недоумённый (он ожидал более бурной реакции, возможно, даже ссоры, которая встряхнула бы их затухший брак), уставился в тканевую обивку спинки кресла впереди него. Обычно в дороге он читал газету, которую ему давала Нора, – ведь надо быть в курсе всех событий, – но жена лишь бросила *да и чёрт с тобой, живи как хочешь, это*

твоя жизнь. И ведь чертовски верные слова, но тон, каким они были сказаны, всё испортил. Поэтому – обивка и угрюмое молчание.

Косули часто искали пропитание парами и даже группками по три, и в поисках пищи перебежали лесное шоссе в другую половину леса по несколько раз в день. Ни для водителей, ни для пассажиров это не было новостью, но всякий раз все выгибали шеи, любуясь грациозными животными. Водитель, конечно, не выгибал, лишь притормаживал, и косули проносились перед автобусом, каждый раз заставляя его вздрогнуть и порадоваться, что все остались целы и невредимы. Некоторые косули рвались на шоссе настолько резко и в неподходящий момент, почти самоубийственно, что пару раз действительно происходили неприятные случаи.

Катрина Капп, которой в Локса бабушка вручила пять банок с различным вареньем, ехала домой к родителям в Таллинн и пыталась заигрывать с сидящим напротив парнем, всячески ему улыбаясь. Парень, однако, неловко поулыбавшись в ответ, пересел в конец почти пустого автобуса, и Катрина уныло констатировала своё очередное фиаско. В семнадцать лет у неё всё ещё не было парня, и этот факт она считала самым ужасающим в своей биографии. Пока Катрина раздумывала о своих любовных неудачах и о том, в какой цвет ей стоит перекраситься, когда она приедет домой, пакет с банками варенья, который она легкомысленно и довольно небрежно закинула на полку для багажа, подъехал к краю.

Хватило одного поворота, чтобы одна банка перевесила все остальные, и пакет рухнул вниз.

Хватило одного ребра ступеньки, чтобы все пять банок громко и вдребезги взорвались, забрызгав пакет, пол и саму Катрину разноцветным вареньем.

Хватило двух секунд визга Катрины, чтобы водитель обернулся в салон.

Ещё трёх секунд – чтобы он осознал, что все живы.

Но тех же трёх секунд не хватило, чтобы он успел увидеть нескольких косуль, стремглав летевших через дорогу. Визг тормозов оказался гораздо громче визга Катрины, но было уже поздно. Лёгкая осенняя наледь на дороге использовала свой шанс, и автобус, перевернувшись, приземлился прямо в ближайšie сосны. Один из стволов пробил лобовое стекло – водитель чудом остался в живых. Остальные пассажиры с разной степенью ушибов и шока медленно осознавали случившееся.

Не осознавал только Луукас. Не удерживаемый ремнём безопасности, он вылетел с сиденья и приземлился в другом конце автобуса виском прямо на упавший огнетушитель. Черепно-мозговая травма мгновенно стёрла из его жизни и Нору, и всё, что было до неё, на несколько секунд оставив лишь отпечатавшийся на сетчатке узор обивки спинки кресла. Потом потух и он.

Луукас был единственным погибшим в той аварии. Нора не знала, пристёгивались ли другие пассажиры, но зато

точно знала одно: если бы она всё-таки настояла на ремне, как делала десятки раз до этого, Луукас, скорее всего, был бы жив. Нора была виновна вдвойне: не заставила мужа пристегнуться и довела его до такого состояния, когда ему в удовольствие было поступить ей наперекор. Эту двойную вину Нора несла в себе уже пятнадцать лет, хотя и сняла её с себя на первую годовщину его смерти. Она была причиной того, что Нора ни с кем больше не пыталась завязать отношения, не пыталась куда-то выезжать и вообще что-то делать со своей жизнью. Нора словно застыла в том автобусе с руками на ремне безопасности. Только иногда она не знала, на чьём ремне были руки – Луукаса, чтобы его спасти, или своём, чтобы расстегнуть его и избавить себя от мучений.

Ведь вина – не то, что можно просто так с себя снять.

Аксель Рауманн ходил по побережью той части залива, что была ближе к его домику. Искал вдохновения, но зловещие заводские порталные краны с клешнями портили весь вид, не давали сосредоточиться, поэтому идти приходилось только в одну сторону. Аксель смотрел на лёгкие, почти неуверенные волны и представлял свою будущую музыку: плавную, спокойную, негромкую. Отвлекающую от суеты. Он сел на одну из скамеек, чтобы дать уставшим ногам отдохнуть, и направил взор на воду, но чёртовы краны всё равно было видно. Тогда он прикрыл глаза, позволив себе раствориться в неспешном и монотонном плеске. В его звуке. Других, к счастью, не было. На заливе стояла тишина, было холодно, желающих прогуляться не наблюдалось. Аксель придумал парочку вариантов начала своего будущего шедевра: всего несколько тактов из планируемой большой истории, но уже что-то. Третий день почти не было ветра, а на одних спокойных волнах и тактах далеко не уедешь; Рауманну нужна была драма, шквал эмоций, трагическая развязка, буря, ураган, штормовое предупреждение – он готов был стоять до пневмонии, пронизываемый ледяным ветром, только бы увидеть *настоящие*, метровые волны, неистово бьющиеся о содрогающийся берег. Бесконечное полотно природы, словно выливающееся за край, за раму картины, не знающее

никаких границ, как и настоящее творчество. Он видел, что такие волны тут не редки, в роликах из социальных сетей, но за всё время, что он здесь провёл, не было ни ветра, ни накала страстей.

Тогда Аксель решил приложить больше усилий, и стал ходить на другой пляж, другую часть залива, совершенно не похожую на ту, что была близко к его домику. Почти в самом его начале берег взрезал деревянный остов погибшего парусно-моторного судна «Ракета». Поэтому пляж часто называли «Ракетой», хотя, насколько узнал Аксель, это не было его официальным названием. При взгляде на скелет корабля, тёмный, зловещий, печальный, одинокий, беззащитный, заброшенный, такой разный при разном свете дня и вечера, при разной погоде и разном настроении смотрящего, у Акселя порой захватывало дух. Отправная точка произведения – наверное, он её нашёл.

И, что не менее важно, здесь не было видно никаких крапов. Холодный, грустный, пустынный осенний пляж. Серая вода. Сосновые кроны, кажущиеся чёрными. Именно за этим Аксель сюда и приехал.

Каким же нужно быть идиотом, чтобы не прийти сюда сразу!

Скамеек на этом пляже не было, поэтому Рауманн неспешно прогуливался вдоль берега, ступая иногда слишком близко к воде, в сторону Суурпеа и обратно. И каждый шаг, каждый глоток холодного морского воздуха убеждали

его в том, что он действительно сотворит шедевр.

Аксель знал, что это его призвание.

Ради искусства он был готов на всё.

Все оживлённые разговоры затихали, когда он проходил мимо, и возобновлялись со смешками, адресованными спине Расмуса, когда он удалялся. За продуктами Магнуссен ходил только в «Консум». По одной простой причине: только там были кассы самообслуживания. Лишний контакт с людьми, которые его презирают, был невыносим. Хотя и там бывали проблемы. Например, однажды у него ни в какую не сканировался штрих-код на банке тушёнки, и в итоге к нему подошёл кассир. Потыкал в экран кассы, ввёл код вручную. Ошибся на одну цифру, Расмус это видел, но ничего не сказал, пусть набирает заново. Потому что каменное лицо кассира, только что вежливо помогавшего другому покупателю на соседней кассе самообслуживания, напомнило ему, кто он.

Тот, с кем не здороваются даже кассиры.

Была и другая проблема – чек от сданной пустой тары на таких кассах частенько не только не сканировался, но и не набирался вручную. Бутылок и банок у Расмуса набиралось немного, в основном от лимонадов, иногда от джин-тоника, но его злило, что он не может воспользоваться своими законными деньгами, десятицентовыми наценками на каждую единицу тары. В конце концов он решил накопить их побольше, а потом пойти в «Гросси», но только на кассу к Норе.

Пятнадцать лет назад неудачный год, изменивший всю жизнь, выпал не только Расмусу, но и ей. Разница была лишь в том, что о её трагедии практически никто не знал, в том числе и сам Расмус. Нора Йордан когда-то училась у его матери, но он её не помнил, а спустя столько лет и не узнал бы. Расмус решил, что она поселилась здесь недавно, что он её не знает, и это было даже хорошо. Ему хотелось бы, чтобы и она его не знала.

Но Расмуса Магнуссена здесь знали все.

Очередь на кассу всегда была неиссякаемым источником информации и новостей. Как мелких – кто что собирается приготовить на ужин и какой им понравился фильм, – так и покрупнее. Видимо, стояние в одной очереди с соседом или знакомым настолько развязывало языки, что промолчать было невозможно. Нора никак не могла понять, зачем обсуждать иногда столь личные иногда темы во всеулышание? Хоть и негромко, вроде бы между собой, но всё же не на кухне или скамейке в парке. Единственным объяснением она находила полное отсутствие уважения к кассирам и другим покупателям, восприятие их не более чем предметами фона, незначительными деталями картины, центром которой являлись бескостные языки. Некоторые были особенно разговорчивы, словно их единственная возможность потренировать голосовые связки выпадала только в очереди на кассу к Норе или к другим. Однако других кассиров всё это, похоже, не очень-то заботило. Они научились абстрагироваться от чужих разговоров, между собой и по мобильному телефону, иногда не прекращающихся даже во время оплаты чека, отключаться от них, не поглощать ненужную информацию.

Нора же слушала.

Так, например, она точно знала, кто из их детей куда будет поступать, кто кому нахамил, у кого на что аллергия и

кто кого достал на работе, и даже – бог ты мой! – у кого задержка менструаций. Нора поглощала всё, не отфильтровывая, и постепенно крошечные кусочки жизней оседали в ней, накапливались, сплетались друг с другом, образуя портрет жителей города, словно сплетённый из бисера. Мало чего не знала Нора о них, и мало кто знал что-то о Норе.

Её это вполне устраивало.

Родители Хельги были чиновниками, и бесперспективный Расмус им никогда не нравился, в отличие от Урмаса. Урмаса, который всегда добивался чего хотел. Как добился Хельги, места в горуправе и в конечном итоге мэрского кресла. Хельга, занимавшая это кресло до него, была молода, но, например, мэр Нарва-Йыэсуу был ещё моложе. Конечно, тогда мэром хотел бы стать Урмас, но у него не было отца, последние десять лет укреплявшего в горуправе и вообще в городе свои позиции и позиции своей дочери. Отца, который был мэром. Просто-таки династия.

Мать Хельги страдала от депрессии и в конце концов повесилась на балке их недостроенного дома. Это было десять лет назад, после чего отец Хельги и стал мэром. За него проголосовали единогласно, словно пытаясь таким образом утешить его скорбь. Просто совпадение, но Урмас не мог не вспоминать об этом, тоже став мэром после смерти своей жены. Йенсен со своим тестем вообще были во многом похожи. Поэтому тот всегда показывал своё доброжелательное отношение к зятю, даже до того, как Урмас им стал, – а вот Расмуса Магнуссена отец Хельги ненавидел. Бесился от одного только его имени, не представляя свою дочь рядом с этим совсем не подходящим ей безамбициозным нищепродом, маменькиным учительским сыночком. Они даже смот-

релись рядом друг с другом просто ужасно, как же его дочь этого не понимала?

Отец Хельги ошибался во всём, и Урмас чувствовал это с самого начала. Магнуссен вовсе не был безамбициозным, просто не все должны с рождения мечтать пролезть в политику или заработать любыми путями побольше денег. Не был он и нищевродом, просто не нужно сравнивать всех с доходами семьи депутатов. И уж тем более он не был маменькиным сыночком – вернее, был, но совсем не так, как думал отец Хельги, а в каком-то очень извращённом, жестоком смысле, в итоге приведшем его туда, где он оказался. И если уж на то пошло, то Расмус и Хельга отлично смотрелись рядом, два ворона-одиночки, вместе способные сотворить что-то феноменальное. Магнуссен имел доброе сердце, это знали и Хельга, и Урмас. Но доброе сердце не интересовало отца Хельги, а после того жуткого убийства оно перестало интересоваться и Хельгу. Она вышла за Урмаса замуж, и довольны были все: её отец, одобрявший кандидатуру, её мать, пока ещё не утонувшая в пучине болезни, которая одобряла всё, что одобрял её муж, и, конечно, сам Урмас, давно желавший красавицу Хельгу и не менее сильно – влиться в её семью. Была ли довольна сама Хельга, никого не интересовало, особенно после того, как у них родилась дочь.

Но Урмас слегка просчитался.

Во-первых, красавица Хельга после рождения Камиллы стала тускнеть, с каждым годом теряя свой лоск, словно по

частицам отдавая дочери своё сияние. Хельга умерла в тридцать пять лет, но к тому времени Урмасу казалось, что она умерла давным-давно. Та Хельга, которую он знал, исчезла, когда нашла свою мать, безвольно висящую в петле. Счастье, что бабушку нашла не пятилетняя Камилла. Прабабушка, Грета Йенсен, обожала правнучку. Что оказалось очень кстати, потому что фактически Грета заменила мать Хельги.

Во-вторых, тесть, ставший мэром, занимался только дочерью и её всяческим продвижением, хотя та вовсе не собиралась идти в политику. Но у неё не было выбора. На Урмаса ему уже не хватало времени, а ведь тот рассчитывал извлечь максимальную выгоду из положения своего тестя. В итоге мэром стала Хельга, которой отец проторил дорожку, а Урмасу пришлось стараться самому, особенно после того, как перебравший тесть утонул, плавая на своей лодке в заливе Хара.

Ну и в-третьих – конечно, сама Камилла.

Иногда ему по-настоящему хотелось, чтобы она исчезла из его жизни.

Семья Йенсен была прописана в трёхкомнатной квартире скромной пятиэтажки, внутри, однако, блистающей шикарной отделкой и нашпигованной дорогой техникой и мебелью. После смерти матери в квартире порой жила одна Камилла – отец частенько проводил время в коттедже, который им закончили отстраивать через три дня после похорон Хельги. Тот самый недостроенный коттедж, в котором повесилась бабушка. Конечно, там всё снесли и начали строительство заново, всё-таки участок был хорошим и уже выкупленным. Зачем тратить время, продавая и перепродавая землю? Дед поддержал отца, рассуждая так же прагматично. Но Хельга долгое время противилась этой идее. В конце концов Урмас настоял, чтобы она поборолa свой страх, и мама пришла посмотреть на строительство. К счастью, балок уже не было видно. Только очень симпатичный коттедж, который станет ещё симпатичнее, когда будет закончен. Он не имеет никакого отношения к тому, что когда-то случилось на этом прекрасном участке. Камилла взяла маму за руку, и тогда она сказала, что им нужно будет разбить сад. *Их сад.*

Дом находился за чертой города, имел отдельную подъездную дорожку и, естественно, огромный знак частной собственности. Участок, на котором не росло ничего толкового, зато летом стояли шезлонги и устраивались шашлыки,

был огорожен забором и живой хвойной изгородью. Рядом стояла небольшая банька. Камилле больше не нравился этот дом: они с Хельгой так и не разбили там сад с красивыми цветами, не повесили гамак, не установили фонтан. Без матери Камилле всё это стало неинтересно. Может, она так и не простила отцу, что всего через три дня после того, как его жену опустили в землю, он с головой бросился в устройство нового дома, как будто ничего не случилось.

Может, она не простила ему и того, что с тех пор в коттедж частенько навевались женщины, и об этом знал весь город.

Камилле нравилось быть одной в привычной квартире, а Урмасу нравилось, что не надо думать, куда деть Камиллу, пока он с подругами развлекается в сауне. Когда он говорил, что ему надо будет поработать за городом, они оба знали, что это значит. Со временем это происходило всё чаще.

Со временем Камиллу всё меньше это волновало.

Мама была её лучшей подругой, и её неожиданная и очень ранняя смерть в тридцать пять лет подкосила Камиллу. Она представляла себя в её возрасте. Какой будет её жизнь к тому времени? Где она будет жить? Кем работать? Будет ли замужем? Будут ли у неё дети? Камилла точно знала, что стать матерью так рано, как Хельга, она не хотела.

Она хорошо училась, у неё было много друзей, но сколько из них общались бы с ней, если бы она не была дочерью

мэра? Сначала Хельги, потом Урмаса. У Камилла не было ответа. Иногда ей хотелось уехать туда, где никто не знал ни её, ни её отца. И проверить. Заведёт ли она друзей там так же легко, как здесь? Будут ли они смеяться её шуткам, или она наконец поймёт, что юмор – не её конёк? Будут ли обсуждать её поведение, завышать ожидания? Камилле хотелось поскорее закончить учёбу в школе и гимназии и свалить в универ, подальше отсюда. Шансы поступить у неё были весьма неплохие, что есть, то есть, с мозгами у неё было всё в порядке.

Ну, по крайней мере, когда она не общалась с Яном. Этот паршивец два года её игнорировал, чем только больше распалял. Единственный из всех парней, кто не хотел закрутить с дочкой мэра. Единственный, кто её интересовал. Отец как-то ляпнул, что он ей совершенно не подходит и вообще он видел его на улице с другими девчонками, на что Камилла спросила, сколько женщин за последний месяц приезжало в коттедж. Урмас вздохнул и сказал, что просто о ней заботится, но Камилла уже не слушала. Вообще-то ей не первый раз говорили, что Ян тусуется с кем-то ещё, но сам Ян всё отрицал, убеждая её, что им просто завидуют. Их паре. С Камиллой он вёл себя идеально, и её подозрения каждый раз рассеивались.

Она красила подпиленные ногти красным лаком, купленным в универмаге. Не её цвет, ей больше подходили пастельные оттенки, но Яну нравилось. Она красилась им только

на вечеринки и, приходя домой, стирала. Ей раздражало, что даже жидкость с ацетоном не способна с первого раза снять кричащий лак, с каждым движением ватного диска размазывающийся по ногтю и по коже. Камилла потом долго мыла руки с мылом, словно смывая кровавые следы преступления. Иногда неприятный розоватый оттенок всё же оставался. Если бы ногти были длиннее, наверное, кожа бы так не пачкалась, но Камилла много печатала на ноутбуке – домашние задания, рефераты, рассказы собственного сочинения, – и длина была ей попросту неудобна. Она казалась ей какой-то хищнической.

Ян уже не первый раз намекал ей на то, что пора бы переспать, но Камилла всё медлила. Не то что бы ей этого не хотелось, даже наоборот, – только что она будет делать, если окажется, что он действительно тусуется не с ней одной? Камилла вовсе не собиралась быть одной из многих.

Одной из его девчонок.

Когда она пошла на первую после смерти матери вечеринку, устроенную в честь окончания учебного года, отец был счастлив. Жизнь продолжается, мягко говорил он ей, и в его понимании то, что дочь наконец снова отправилась на тусовку, как раз это и значило. Вот только для Камиллы ничего не продолжалось. Она шла туда, чтобы хоть как-то заполнить пустоту. Шар-стробоскоп, стоящий в углу и подключённый к розетке, наполнял цветными мельтешащими пятнами всё помещение и раздражал её, хотя раньше ей нравилось его

свечение. Музыка была не в её вкусе, хотя раньше она могла влиться в любую. Всё вокруг было не так и уже никогда не будет прежним. Зря она сюда пришла. Нужно уходить.

Три стакана спустя Камилла уже была не так уверена. Кто-то, кого она знала, тёрся о кого-то, кто был ей незнаком, музыка стала громче, запахи более душными. Лохматый парень в пропитанной запахами майке сидел рядом с ней на диванчике и что-то ей говорил. Что именно – Камилла не слышала. Она наклонилась, чтобы разобрать слова, и парень положил тяжёлую руку ей на бедро. Камилла почти мгновенно протрезвела. Словно волной ожгло – какого чёрта она сюда припёрлась?

– Да ладно, не ломайся, – с жаром прошептал он ей в ухо, пытаясь залезть в него языком. Камилла дёрнулась, но он крепко держал её за руку. – Я же знаю, ты такая же, как твоя мамочка. Все это знают.

Камилла больно ущипнула его за то самое место и вырвалась. На глаза навернулись слёзы. Что он имел в виду? Она проталкивалась сквозь танцующих пьяных подростков, чьи-то длинные волосы зацепились за крупную пуговицу на её блузке, кто-то облил её пивом, а потом осторожно взял за руку.

– Всё нормально? – спросил Ян.

Камилла помотала головой и снова попыталась вырваться, ожидая, что теперь в неё вцепится и этот парень, но Ян отступил, поднимая руки в жесте «сдаюсь».

– Эй-эй, не волнуйся, – сказал он, негромко, особенно на фоне играющей музыки, но Камилла услышала. Она два года хотела, чтобы он с ней заговорил. Но, чёрт возьми, не здесь и не сейчас.

– Мне пора, – она повернулась и пошла к выходу.

Яан вышел с ней на улицу и предложил проводить. Камилла машинально кивнула, но мысли её были не с Яаном.

Что он имел в виду?

Когда они пришли домой, у подъезда стоял Урмас. Он надеялся, что Камилла вернётся радостной, но выражение её лица его напугало. Ещё и какой-то парень... Вид у Урмаса стал такой грозный, что Яан отшатнулся.

– Всё нормально, – буркнула Камилла и зашла в подъезд.

Это же она повторила на расспросы отца, почистила зубы и легла спать. Заснуть ей удалось только под утро, почти всю ночь она думала о том, что ей сказал пьяный лохматый парень с противным языком. Камилла не была душой. Просто ей было тяжело в это поверить.

Она знала, что у родителей что-то разладилось. Не было той любви, которую она видела в них, когда была ребёнком. Но Камилла думала, что это нормально, ведь с возрастом, с течением лет люди притираются друг к другу. Это было понятно, хотя и грустно. Они решили построить коттедж, чтобы отдыхать там вместе, как-то сплотиться, вернуть что-то, что они утратили. Вдохнуть новую жизнь в их брак.

За завтраком Камилла сидела поникшая, зная, что только

один человек может раз и навсегда решить этот вопрос. Она уже поела и теперь пила чай, а Урмас решил сделать себе ещё один бутерброд с форелью. Он размазывал масло по хрустящему горячему хлебу из тостера. Хлеб слегка обуглился по краям, и на глаза Камиллы едва не навернулись слёзы. Только мама точно знала, когда нужно вытащить хлебец из тостера, чтобы он был идеальным. Прошёл год, сколько же ещё таких мелочей постоянно будут напоминать о ней и доводить до слёз?

– Может, и тебе сделать? – спросил Урмас.

Камилла опустила взгляд, обхватив пальцами чашку с чаем.

– Точно всё нормально?

И тогда она решилась. Она говорила максимально неприуждённо, даже весело, словно всё это просто шутка, словно у неё в груди не бился горячий осколок метеорита, который вчера прилетел в её жизнь.

– Да вчера какой-то придурок пытался приставать, – улыбнулась Камилла, показывая, что ничего не было и отцу не о чем волноваться. – Ну, конечно, у него ничего не вышло, хаха...

– Камилла, мы же это уже об...

– Но он кое-что сказал, и я не могу выкинуть это из головы. *Не ломайся. Я знаю, ты такая же, как твоя мамочка. Все это знают,* – последние слова Камилла почти прошептала.

– Брось, милая. – Урмас посмотрел на бутерброд и откусил от него. Хруст заставил Камиллу вздрогнуть.

Брось, милая?

– Ты вообще не такая, как она.

И что это должно значить?

– По крайней мере, я на это надеюсь. Решать тебе, – пожал он плечами. – Она выбрала развлечения вместо репутации. Вы, женщины, вечно выбираете развлечения.

– Что? – не поверила своим ушам Камилла. Кусок метеорита в груди застыл, горячая магма превратилась в остывшую лаву.

– Она была мэром, чёрт возьми, но запомнили её как шлюху, – сказал Урмас, не моргнув глазом. – Никакой коттедж не спас бы наш брак.

Камилла хотела закричать, что ей всего шестнадцать лет, что она не должна слушать такое о своей умершей матери от своего же отца, но она просто допила чай и молча ушла в свою комнату. *Запомнили?* Все действительно всё знали? Все, кроме неё. Она включила ноутбук, открыла папку с фотографиями, которую создала после похорон. Все фото – с матерью. Все – счастливые. Камилла пересмотрела каждую. Тот тон, каким Урмас ей всё сказал, злил её больше, чем сам факт. Она захлопнула крышку ноутбука и закрыла глаза. Ей плевать, кем она была. Она любила её. Обожала свою маму.

И если она и была шлюхой, то только потому, что отец недостаточно её любил.

За спровоцированное убийство, совершённое в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием или оскорблением со стороны потерпевшего в отношении убийцы, давали от одного года до пяти лет. Но Расмус не пожелал рассказывать всю историю, доказательств которой у него всё равно не было, как не было и свидетелей. Убийство наказывалось тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет. Возраст, поведение Расмуса и полное отсутствие раскаяния привели его в заточение по максимуму.

И он был не против.

Парадокс, но в тюрьме Расмус чувствовал себя свободнее всего. Ни до, ни после в его душе не было столько места. Сначала его душила мать, потом – вся Локса. Песок, которым было замечено его сердце, в тюрьме стал кристаллизироваться, превращаться во что-то новое, прозрачное, твёрдое. Стекло. Теперь его сердце было надёжно защищено. Было – пятнадцать лет. Было – пока он не вернулся в город, что считал своим домом. Но никакого дома у него уже не было, как не было и защитного стекла. То, что годами утолщалось, наращивало слои, оказалось бессильным перед ненавистью и презрением, унижением и бойкотированием. Каждый эпизод бил точно в цель, и стекло шло трещинами,

небольшими, но многочисленными. Снова превращалось во что-то иное.

В конце концов от него останется один песок.

Если бы Расмуса спросили, что он намерен делать дальше, он бы не смог ответить. Он знал, что многим приходилось и похуже. Что его вряд ли тронут, причинят физический вред, с его-то комплекцией и угрожающим видом. Но Расмус не колеблясь бы предпочёл физику психике. Драки насмешкам. Побои равнодушию. Потому что именно психику легче всего искорёжить. В тюрьме Расмус лишился двух пальцев на ноге по неосторожности на производстве, и для это хватило всего пары секунд. Физический вред наносится быстро. Психику и душу можно уничтожать десятилетиями. Это словно радиация – отравляет постепенно, по чуть-чуть, и в какой-то момент становится уже слишком поздно. Два пальца при желании можно как-то восстановить. После радиации восстановиться гораздо сложнее.

Особенно если она повсюду.

Расмус любил свою страну и в тюрьме увлёкся путеводителями. Ему нравилось читать про нетронутую природу, километры лугов и песчаных пляжей, бескрайние лесные массивы и национальные парки, множество озёр и рек. Рассматривать яркие фотографии, где от обилия зелёного и синего цветов, от свежести, которой они дышали, хотелось плакать

от восторга. Он был уверен, что после освобождения обязательно будет путешествовать. Посетит все те места, о которых читал, побывает везде, где сможет. Но когда Расмус вышел из тюрьмы, тюрьма не вышла из Расмуса. Его больше не интересовали путешествия, как и что-либо вообще. Многое изменилось, но он остался тем, кем был всегда.

Пассивной тварью.

Цвета флага Эстонии – синий, чёрный и белый – символизировали небо, землю и стремление эстонцев к счастью. Если бы у Расмуса был свой флаг, в нём не было бы никаких стремлений, лишь два цвета. Чёрный, как глубины угольной шахты, как его запятнанная навечно душа убийцы, и белый, как полярная пустота, как лист бумаги, на котором никогда не напишется его счастливое будущее.

Расмус отлично понимал: нужно всё бросить, продать хоть за какие-то деньги дом, покорёженный так же, как его душа, переехать куда угодно, устроиться на любую работу. Найти новое место, новых людей, начать новую жизнь. Может, получилось бы. Вот только сам Расмус был всё тем же, в нём не было ничего нового, лишь старый песок, искрошившееся стекло, застывшая в глубине души тьма. Чтобы что-то изменить, нужно было найти и в себе что-то новое. В том числе силы на то, чтобы бороться. Не против кого-то, а за. За себя. Старый Расмус не был уверен, что это стоит того. Вместо новой жизни ему хотелось или вернуться в тюрьму, или умереть. Раз уж он навсегда помечен клеймом убийцы, почему

бы не убить кого-нибудь ещё?

Вместо того чтобы позволять день за днём убивать себя.

У Норы Йордан было собственноручно сшитое одеяло в стиле пэчворк. Не то чтобы оно было очень красивым, или Нора так уж увлекалась рукоделием, просто эта лоскутная мозаика значила для неё нечто большее. Каждый квадратик – кусочек счастья. Нора шила это одеяло из радостных воспоминаний, фиксируя каждый счастливый день фрагментом ткани, чтобы укрываться в нём в те дни, когда становилось совсем уж тяжело, беспросветно, бесцельно. Когда только счастливое одеяло, накрывшее её всю, с головой, могло напомнить ей о том, что и в её жизни было что-то хорошее.

Эта идея пришла ей в голову в тот день, когда они с Луукасом поженились. Несмотря на то, что Нора не пылала страстью к новоиспечённому мужу и даже не понимала толком, любит ли его, день свадьбы действительно был для неё счастливым. Ей хотелось сохранить его в памяти подольше. Первый лоскут одеяла был из рубашки Луукаса, в которую он был одет, беря её в жёны. Симпатичный светлый квадратик, лишь для неё одной значащий что-то особенное. Потом к нему стали добавляться и другие – понимая, что глобального счастья не существует (по крайней мере, для неё), Нора хваталась за любое ощущение, любую мелочь. Однажды они с Луукасом устроили пикник на пляже. День выдался слишком жарким, Луукас забыл подстилки, которые Нора проси-

ла его взять, и им пришлось сидеть прямо на песке, вино, которое они открыли, оказалось прокисшим, а потом их окружили осы. Взмокшая и укушенная осой Нора проклинала эту дурацкую затею всю дорогу до дома, и этот день вряд ли можно было назвать подходящим лоскутом для одеяла счастья, но когда Нора вошла в прохладную квартиру, опустила на пол сумку, скинула платье, зашла в ванную и включила освежающий душ, счастье разлилось по каждой клеточке её тела. Нора добавила к одеялу лоскут от подстилки, которую они забыли. Для других это было бы напоминанием о пикнике, для Норы же – о счастье после его завершения. Третий лоскут был от джинсов, в которых Нора была, когда её взяли на работу в «Гросси». Получив должность кассира, Нора была счастлива как никогда. Её радовала даже не сама работа и будущий доход, а то, что теперь у неё будет всё как у людей. Муж, работа, стабильность. Оказывается, комфорт может стать ещё комфортнее. Джинсы Нора отрезала снизу, потому что они были ей длинноваты. Вырезать кусок из середины она, конечно, не стала бы.

Она же ещё в своём уме.

Работа давалась ей на удивление легко, и приходя домой, даже если смена была тяжёлой, Нора не чувствовала какого-то особенного счастья. Она словно переключала один спокойный канал на другой. Нора не добавила в одеяло больше ни одного лоскута, связанного с работой. Зато когда они с Луукасом на годовщину поехали в Пярну, к одеялу прибави-

лось аж пять лоскутов. То была поистине счастливая поездка. Нора никогда больше не ездила ни в Пярну, ни куда-либо ещё.

Луукас иногда подшучивал, как мало ей нужно для счастья. А счастье состояло для неё в долгожданном отсутствии дискомфорта. Нора любила существование в своём маленьком, привычном, ничем не примечательном мирке, для неё оно было естественно и спокойно, но *возвращение* в него, в свой любимый комфорт, дарило ей что-то большее, чем покой.

После гибели Луукаса ничто не могло доставить Норе ни дискомфорта, ни комфорта. Она гоняла по кругу мысль о том, что это ей следовало умереть, это ей следовало отстегнуть ремень и разmozжить себе голову об огнетушитель. Эта пластинка в её голове вставляла на паузу лишь ночью, когда Нора засыпала. Удивительно, но ей почти не снилась авария. Только Луукас. Точнее, как она им недовольна. Дома, в магазине, на улице. Лицо самого Луукаса во сне всегда было слегка растушёвано. Проснувшись, Нора знала: теперь растушёвана она. Её больше ничего не злило. Ничего не растраивало. Не радовало и не приносило удовольствия. Словно Луукас, уходя, выдернул из розетки какой-то шнур, и все чувства Норы отключились. В глубине души она знала, что была такой и до встречи с Луукасом.

Именно поэтому первым лоскутом в одеяле стала его свадебная рубашка. Луукас дал ей какую-то цель в жизни. При-

дал её существованию хоть какой-то смысл. Пусть он заключался в том, чтобы постоянно его пилить и вздыхать, готовить в два раза больше еды, с радостью укрываться в своём мирке после слишком долгого с ним общения, – любая мелочь, которая другим кажется само собой разумеющейся, была для Норы крупинкой сладкого белоснежного сахара, микроскопической частицей её ощущения себя человеком, женщиной, женой, и Нора собирала их в красивую сахарницу. Сахарница постоянно увеличивалась в размерах, потому что Луукас, несмотря ни на что, любил Нору. Так, как мог, и так, как её вообще можно было любить. Когда Нора вернулась с похорон, она поняла, что всё кончено. Сахар превратился в соль. Едкую, опустошающую, стекающую по щекам.

Нора снова стала никем.

То одеяло много лет хранилось на дальней полке в шкафу, где имело минимальные шансы попасться Норе на глаза. На девятый день после смерти Луукаса она принесла его на кладбище и положила на могилу мужа. Ей хотелось сказать – смотри, без тебя в этом одеяле нет смысла, оно по праву принадлежит тебе. Но она не сказала ни слова. На сороковой день она забрала одеяло домой, постирала его и убрала в шкаф, где оно лежало и по сей день. Очередное фиаско, как и вся её жизнь, настоящее свидетельство её краха, истинное отражение её сущности. План Норы провалился. Одеяла, дарящего счастливые воспоминания, не вышло, как не вышло

и наладить свою жизнь. Салфетка из нескольких лоскутов едва закрыла бы Норе колени, если бы она решила найти ей хоть какое-то применение во время ужина.

Она не добавляла в неё новых фрагментов уже много лет.

Аксель Рауманн уже набросал одно произведение, но чего-то в нём не хватало. Перед Акселем лежала простенько написанная пьеса, но несколько тактов в ней отсутствовало. И даже зная тональность и размер, восстановить их не получалось. Подобрать так, чтобы восполнить недостающий фрагмент. Пробел не портил всей картины, но Акселю страшно хотелось его разгадать. После нескольких прогулок он всё понял.

В один из дней, когда Аксель бродил по пляжу, ему позвонила Ритта. Как будто их договорённость о том, что он уезжает, чтобы спокойно поработать, была для неё какой-то ерундой.

Хотя почему «как будто»?

Они почти поругались, и только усилием воли Аксель заставил себя сбавить обороты. Выключив телефон, он попытался вернуться в состояние созерцания и поиска вдохновения, но настрой был испорчен. А ведь он пришёл сюда именно для этого! Стиснув зубы, Аксель решил прибегнуть к запасному способу. Вдохновлять может не только природа, но и музыка. Чужая, та, которую он хотел бы написать сам. Та, которая ублажала слух, погружала в бездонные воды, уносила в другой мир. Аксель смотрел мало сериалов, но «Бродчёрч» попал ему прямо в сердце – и сюжетом, но, главное,

атмосферой и музыкой. Музыкой, создающей эту атмосферу. Навсегда осевшую в душе. Атмосферу, оказавшуюся ему столь близкой, что Аксель долго не мог в это поверить. Ему казалось, что его конёк – весёлые и забавные, приятные на слух, жизнерадостные этюдики и скерцо, задания в Консерватории. Один сериал изменил всё. Три заглавных трека из трёх сезонов были заслушаны Акселем «до дыр». Остальные композиции также были в «Избранном». Но *So Close* и *So Far* Аксель просто боготворил. Достаточно было одного аккорда, чтобы вернуться в прибрежный Бродчёрч, и одной вокальной фразы, чтобы окунуться в развернувшуюся там драму. Олафур Арнальдс, несомненно, был гением, как и Арнор Дан.

Неприятный разговор с Риттой был забыт. Надев наушники, Аксель шагал по локсаскому песку, превращающемуся в бродчёрческий, смотрел на волны, лижущие берег, чувствовал, как начинает ныть сердце. Через тридцать минут, пройдя весь пляж и прослушав половину плейлиста, он развернулся и пошёл в обратную сторону. Теперь в поле зрения была «Ракета». Сквозь музыку едва слышно, но всё-таки пробивался шум волн. Аксель понял, что это судьбоносный момент. Он поймал настроение и больше его не упустит. И на этот раз он смог признаться самому себе: ему нужен свой Бродчёрч. Своя гениальная драма, трагическая история, неповторимая атмосфера. Он, Аксель, сможет. Ведь это то, что сидит у него внутри. Нужно лишь выпустить это на

волю. У него есть все козыри: огромное желание творить, депрессивная осень, небольшой городок, холодный пляж, даже два, если уж на то пошло, бескрайняя вода, чёрный корабль, хмурые сосны.

Магазины, библиотеки, музыкальные школы, разрушенные дома и пьяницы, почтальоны и злобные подростки, безработица и тупая рутина были везде. Могли быть. Но это – это было уникально. Морские и лесные пейзажи, захватывающие дух. Одиночество и свобода воды, песка и сосен. Невыразимая бесконечность невыносимого бытия. Такому невероятному антуражу грех пропадать зря. Вздохнув, Аксель наконец осознал, чем можно заполнить пробел.

Этому городу не хватало трагедии.

Все считали его пьяницей, но ошибались. Он регулярно покупал различное спиртное, иногда в больших количествах, но не пил. Только пиво, а пиво не считается. По крайней мере в их городе. Кто-то однажды спросил, как он мог так быстро выпить то, что купил вчера, и Сфинкс, не желая навеки прослыть забулдыгой, стал отнекиваться. Забулдыгой он всё равно прослыл, хорошо хоть шуточки про спиртование мумий у себя дома постепенно исчерпали себя. Сфинкс и сам себя исчерпал, и довольно давно, но иногда что-то внутри него всё же находилось. В те моменты, когда он погружался в прекрасный далёкий мир, когда открывал книгу или включал фильм, дверь в мир обычный захлопывалась, и даже лёгкое дуновение не могло просочиться сквозь щель. Потом дверь распахивалась, и его обдавало зловонием реальности. Убрать помои за всем домом. Оплатить счета. Купить спиртное. Прикинуться пропащим идиотом. Вызвать сострадание. Или отвращение. Сауна и возвращение домой – лучшее время дня. Лучшее время жизни.

Два слова, выгравированных золотом, украшенных кобальтовыми сапфирами, пахнущих ладаном, освещающих его тусклую жизнь. Таинственная легенда непередаваемой красоты. Древний. Египет.

Знания многих о нём ограничивались пирамидой Хеопса,

Тутанхамоном и мумиями. Но Сфинкс был не из многих. В одной из далёких прошлых жизней он был египтянином, в этом сомневаться не приходилось, потому что других объяснений своей единственной страсти он не находил. Да и не хотел.

Несколько тысячелетий. Миллионы дней. Египтяне были так далеки от него и всё-таки так близки. Не только ему – всем им, но они этого не понимали, чему Сфинкс был даже рад. Делиться ему не хотелось. Египтяне были просты и невероятно сложны, понятны и до конца не разгаданы, безупречны и порой отвратительны, непобедимы и хрупки. Со всем как они. Каждый из жителей этого города. Этого мира.

Погружаясь в свой мир Древнего Египта, Сфинкс ощущал умиротворённость и покой. Его наполнял свет уважения к вечности, и потому он каждый день так спешил домой. Ему нужен был этот свет. Другого у него не было. Ни одна лампочка не подходила к патрону его души. Только эта. Самая потрясающая из всех.

Там не было ни проблем, ни интриг. Ему хотелось бы вернуться в то время, на тысячелетия назад. Быть там, а не здесь. Но Сфинкс понимал, что обманывает себя. И проблемы, и интриги были всегда, даже в священном древнем царстве. Конечно, были. Просто не такие.

Такие же. Они лгали и крали, насильовали и убивали. Просто крали не мобильные телефоны, а красивые сосуды, убивали не дочерей мэров, а сыновей фараонов. Но было то,

что всегда будет отличать их эпоху от всех других. Слепительная величественность. Сфинкс чувствовал её в каждом фрагменте опубликованных находок, в каждом иероглифе надписей, в каждом образе мифологии. Недостигаемое величие. Золотая эпоха. Божественный период истории. Сфинкса не интересовали греки или римляне. Все они были муравьями у подножий тронов фараонов, пылью на крышках богатейших гробниц, плагиаторами и ворами.

Иногда его убивало то, что древнеегипетская культура становится пошлой разменной монетой культуры популярной, модной, упрощённой до невозможности. Что в фильмах оживают мумии, сине-золотой немес почему-то носят все подряд, хотя это царский головной убор, а полуграмотные искатели приключений сходу читают загадочные иероглифы. Что выставки с дешёвыми копиями и подделками преподносятся публике как что-то сверхзагадочное. В одной детской книге он не обнаружил ни одного соответствия букв транслитерации иероглифам. Они там что, совсем идиоты?

Но нет, идиотом считался Сфинкс.

Иногда ему так хотелось доказать всем обратное. Но он понимал, что это невозможно.

Невозможно доказать что-то людям, бросившим тебя умирать.

Стены старой пятиэтажки были настолько тонкими, что Нора слышала не только шум пылесоса, звуки телевизора и громкий смех, когда к соседям приходили гости, – она слышала гораздо больше. Лёжа на кровати, вписанной в угол между двумя стенами, особенно ближе к ночи, когда и без того довольно тихая Локса совсем замирала, словно выключаясь из мира, Нора слышала каждое их слово.

Каждое слово каждой ссоры Олафа и Марты.

Почему-то они особенно любили выяснять отношения поздними вечерами, словно отдохнув и постепенно переключившись с работы на дом, каждый раз заново открывали друг на друга глаза. Ссоры случались несколько раз в неделю, наверное, как и у всех остальных пар, но остальные пары не жили через тонкую стенку от Нориной кровати. Иногда какой-нибудь особенно громкий возглас или хлопанье дверью буквально вырывало Нору из сна, и тогда ей хотелось придушить чёртову Марту, почти всегда начинавшую конфликт. По крайней мере, Норе казалось именно так – ведь Олаф, довольно мягкий и весьма интеллигентный на вид, в её понимании просто не был способен на провокации. Относительное спокойствие наступало, когда Марта, психанув, собирала жёлтый чемодан на колёсиках (Нора видела его несколько раз), топала ранним утром на автовокзал и уезжала в Тал-

линн. Родственников у Марты не было, поэтому она снимала недорогой номер в отеле. Каждый раз она говорила, что у неё больше нет сил всё это терпеть и что она уже не вернётся к Олафу. Во всяком случае, каждый раз, когда Нора была застенковым свидетелем очередного ухода. Но Марта всегда возвращалась, остыв и отдохнув от мужа, помучив его достаточно времени. Хотя по мнению Норы, мучился он как раз в присутствии Марты, а не в её отсутствие. В конце концов и Олаф, и Нора, да и сама Марта – чемодан всякий раз был довольно лёгким на вид – знали, что возвращение посвежевшей и благосклонно простившей мужа жены неотвратимо. В конце концов все трое к этому привыкли.

Они всегда здоровались друг с другом, как и положено вежливым и добропорядочным соседям, особенно если одна из них работает в магазине, куда почти каждый день ходят другие. Но на следующее утро после вечернего скандала улыбка Олафа всегда была настолько натянутой, что Норе хотелось протянуть руки и помассировать его лицо, чтобы снять спазм. Марта же здоровалась как ни в чём не бывало, словно и не знала, что Норе слышно почти каждое слово их вечерней семейной жизни. И ночной тоже, если уж на то пошло, – низкие животные стоны и скрип кровати, вообще-то стоявшей не так и близко, заставляли Нору натягивать одеяло с головой. Стучать в стенку ей почему-то было иррационально стыдно, словно она специально подслушивала соседские плотские утехы и стуком обнаружила бы своё при-

сутствие. К счастью, супружеский долг исполнялся нечасто. К счастью – потому что в какой-то момент Нора поняла, что эти звериные рыки издаёт Марта, а не Олаф, и от этого её каждый раз почти физически выворачивало.

Но когда Марта, ранним утром направляясь на автовокзал и таща за собой жёлтый чемоданчик, не ведая, что не выспавшаяся после их ссоры, идущая на утреннюю смену в «Гросси» Нора едва сдерживается, чтобы не высказать ей все свои претензии в резком тоне, поскальзывалась на гололёде и растягивалась в смешной позе, Нора с готовностью бросалась ей на помощь.

Когда Марта высказывала какое-нибудь предложение на собрании товарищества дома, Нора, накануне с неконтролируемой презрительной гримасой прослушавшая её ночной зоопарк, искренне поддерживала соседку.

В Марте, как и во всех, было и плохое, и хорошее. Но при этом от неё, похоже, исходил какой-то необъяснимый магнетизм, иначе с чего бы Норе так себя вести? Наверное, именно поэтому Олаф до сих пор её не бросил, несмотря на постоянные ссоры. Из-за проклятого магнетизма. Ну и, вероятно, из-за нечастых, но, очевидно, весьма удовлетворительных во всех смыслах ночей. Если бы она не жила через стенку, Нора относилась бы к ней исключительно положительно. И считала бы, что Марта с Олафом – прекрасная пара.

Нора даже подумывала провести звукоизоляцию, чтобы

избавиться от столь частого присутствия соседей в её размеренной жизни. Но звукоизоляция стоила недёшево, и потом – почему *она* должна её делать, если мешают своим шумом *они*? Хотя, с другой стороны, почему её должны делать они, если что-то не нравится ей? В конце концов Нора решила: чёрт с ним, если очень надо, есть беруши, хотя она их и ненавидела. Ночью ещё куда ни шло, особенно если ей надо было выспаться перед сменой, а соседки опять ублажали друг друга, однако с использованием затычек вечером возникли неожиданные проблемы. Норе настолько была непривычна вечерняя тишина, Марта и Олаф настолько стали для неё фоном, своеобразным радио, что беруши теперь лишь подчёркивали её одиночество. В итоге Нора их выбросила.

Олаф Петерсен, как и его жена, хорошо относился к Норе. Всегда перекидывался парочкой фраз, если встречал её на улице, вставал в её кассу в «Гросси», даже если в другой кассе очередь была меньше. Сама Нора ни за что бы так не делала, если бы всё было наоборот: выкладывать перед соседом все свои товары, чтобы он видел каждую морковку, каждую банку тушёнки по акции, каждую упаковку туалетной бумаги? Нет уж, увольте. Олаф, однако, не смущаясь покупал у неё и алкоголь, если она работала на «спиртовой» кассе, и презервативы, при этом чуть ли не подмигивая.

Возможно, это даже доставляло ему какое-то особенное извращённое удовольствие.

Обычно они ходили в магазин по очереди, но Нора никак не могла предугадать, кто из них придёт сегодня. Марта, в отличие от Олафа, вставала в её кассу только при крайней необходимости. Нора всегда работала быстро и чётко, товары летали мимо сканера штрих-кода со скоростью и ловкостью, достойными фокусника, расчёты с покупателем она могла произвести с закрытыми глазами, а сдачу наличными отсчитывала за постоянно уменьшающееся количество секунд. Все считали, что Нора – лучший кассир, но сама Нора знала: нет предела совершенству. Любую скорость и ловкость можно удвоить, утроить, удесятерить, и Нора действительно могла сделать это в двух случаях: когда ей по какой-нибудь причине хотелось как-то впечатлить покупателя (который может даже этого не осознать, но про себя наверняка отметит высочайшее качество обслуживания) или когда ей хотелось поскорее с ним закончить (забери свои чёртовы товары и сгинь). Иногда, демонстрируя непостижимые чудеса кассирного дела, Нора не могла понять, какая из двух причин истинная.

Например, когда на ленту её кассы выкладывала товары Марта.

Марта Петерсен была высокомерна, и Нора хотела бы не смотреть на неё каждый раз, как видит её, но у Марты было кое-что, от чего было не отвести взгляд. Для каждого – что-то своё, а Нору пленяли роскошные платиновые волосы до середины спины. Всегда ровные, видно, что мягкие

на ощупь, ухоженные, ослепительно красивые, без намёка на желтизну. Нора всегда мечтала о таком цвете, но серебро не брало медь. Её рыжину вообще ничто не брало. Она пробивалась даже сквозь чёрный, отсвечивала в нём на солнце. Иногда Нора её ненавидела. Рыжину. Иногда Марту, за её роскошные волосы. Иногда себя за то, что не могла прекратить пялиться. За то, что хотела бы иметь такие же. За то, что недостаточно себя ценит. Марта Петерсен была яркой мозаикой, составленной из множества разноцветных кусочков, блестящих и сверкающих, а Нора была фреской, неразборчиво выписанной бледными красками по сырой штукатурке. Но самодовольная Марта Петерсен – не та мозаика, на которую стоит равняться.

Даже если в ней есть несколько красивых фрагментов.

Марта четыре раза посмотрела новый клип Аврил Лавин. Той было уже тридцать семь лет, примерно как Марте, но певица совсем не изменилась. Была так же красива, как и во времена юности, даже красивее, но Марта пересматривала клип не из-за этого. Бунтарский дух – вот что её поразило. Такой же, как и двадцать лет назад. Безупречный, свободный, динамичный. Не глоток свежего воздуха – целый ураган. Марта смотрела и поражалась, как исполнительница не растеряла свой запал за два десятилетия. И несмотря на её возраст, клип не выглядел данью уважения и тем более пародией на былой бунтарский уклон. Он выглядел ровно так, как надо: естественно, правдиво, круто. Это чувствовалось, это завлекало, это заставляло Марту нажимать на кнопку повтора. И значило лишь одно: бунтарский дух не подвластен возрасту.

Марта Петерсен была хороша собой и знала это, но теперь чувствовала себя отвратительно. Дело было не в морщинах или теряющем упругость контуре лица, не в том, что после стольких просмотров точёная фигурка и великолепное лицо Лавин в таком возрасте заставили её переосмыслить свою внешность. Как ни странно, дело было в том, чего на самом деле не было.

Она была такой живой, такой дерзкой, такой смелой.

Аврил Лавин в этом взрослом клипе и, очевидно, всю свою жизнь.

И Марта.

В юности.

Когда она растеряла *свой* запал? Когда бунтарский дух напроць из неё выветрился?

В тот день, когда она поверила, что предел её мечтаний – работа в банке? Кто смог убедить её в этом?

Или в тот день, когда она вышла замуж за Олафа? Куда делись все её brutальные друзья-парни, всегда намекающие на что-то большее?

Когда она свернула не на ту дорожку?

И какая дорожка – *её*?

Всего лишь музыкальное видео, но оно всколыхнуло в Марте столько вопросов. Только было слишком поздно. Можно говорить что угодно, что никогда не поздно поменять свою жизнь, что нужно следовать мечтам, но Марте было под сорок, и она не была Аврил Лавин. Она знала, что всё кончено.

Так и не начавшись.

Кем ты хочешь стать, постоянно спрашивают детей, хотя главный вопрос не в этом. Хочешь ли ты вообще кем-то стать? Станешь ли? Ей всегда нравилось столько разных вещей. Почему в какой-то момент круг её интересов стал

сужаться? Марта даже не заметила, когда это начало происходить. Более того, она почти не замечала этого и теперь. Куда всё исчезло? Где её желания, планы, амбиции? Они вообще у неё были, или она даже это пропустила мимо себя, а не через?

Может, она могла бы собрать музыкальную группу, о чём мечтала все подростковые годы, и добиться хотя бы небольшого успеха. Клише? Да. Но хватило ли ей смелости для этого клише? Увы, она даже не попробовала. Может, она могла бы больше радоваться жизни, найти действительно стоящее дело, которое было ей по душе. В любой области. Важное, нужное, в котором она бы могла достичь определённых высот. А ещё лучше – неопределённых тоже. Границы только у нас в голове.

Не правда ли?

Марте всегда нравилась литература и история. Они рассказывали о жизни. О том, чего у Марты никогда и не было. По крайней мере, время от времени ей так казалось. В остальном у неё всё было вполне достойно: приличная работа, хорошая зарплата, муж, который её обожает, приятная внешность, уважение коллег, несколько друзей.

Не было только бунтарского духа.

Скорее всего, его просто не было в самой Марте, но иногда ей так хотелось, чтобы был. Хотелось, словно в юности, носить косухи, ездить на мотоциклах с подозрительными парнями, горланить на рок-концертах, стаптывать ноги

в ночных прогулках. Недолгий период, который запомнился ей как сама жизнь. Возможно, так оно и было. По крайней мере, выглядело более похоже на неё, чем финансовые операции, юбки-карандаши и крупное тело доброго Олафа, придавливающее её к матрасу.

Конечно, никто не мешал Марте надеть косуху и поехать на концерт. Не мешал даже напиться там, переспать с каким-нибудь мужиком, прокатившим её на своём мотоцикле. Но, в отличие от клипа Аврил Лавин, всё это было бы лишь пародией.

Почему она живёт в этом городке, с этим мужчиной, этой жизнью?

Она ведь могла стать кем угодно. Жить где угодно и с кем угодно. Какого чёрта она потратила всю свою жизнь непонятно на что?

Действительно – непонятно на что.

Но всё это было приливами. Пересмотренный видеоклип, статья в журнале о чужих успехах, песня в наушниках, когда она едет в автобусе и смотрит в окно на просторные пейзажи. Тогда у неё не было ответов. Точнее, они казались слишком притянутыми, лишь отговорками, скрывающими то, что на самом деле она упустила что-то важное, она боится чего-то настоящего, ей нужны перемены. А ответы были отвратительно просты, и в другое время казались ей совершенно очевидными: она действительно любит Олафа, ей нравится

работать в банке и получать там хорошую зарплату, а ничего другого она, кстати, и не умеет, зато своё дело знает хорошо, и, конечно, этот затерянный между заливами и лесами тихий спокойный городок она просто обожает, ведь она и сама вся тихая и спокойная, а долбаный бунтарский дух – лишь выдумка, то, что никогда не было ей близко и никогда не будет. И это прекрасно.

В первый же день её долгожданного отпуска они с Олафом снова поссорились, и наверняка скоро это повторится. То, что потихоньку грызло Марту изнутри, всегда отражалось на её муже. Она не раз уходила, чтобы собраться с мыслями, так сказать, брала перерыв. А потом наступал парадокс.

Марта прекрасно понимала, что если бы всё было хорошо, на своих местах, так, как и должно быть, то никакие перерывы ей не понадобились бы.

И в то же самое время, поостыв от размышлений и затолкав неприятные вопросы к собственной жизни и своим поступкам в потайное дно многогранной, но не использующей свой потенциал души, Марта словно приходила в себя. Или снова погружалась в кому. С этим она никак не могла определиться. Но так или иначе, а она возвращалась к Олафу, в их квартиру, на свою работу, в привычную колею. Олаф был святым, раз терпел это раз за разом, не зная истинных причин её поведения.

Но сегодня что-то поменялось. Из-за видеоклипа или нет,

а Марта вдруг осознала совершенной простой факт: если она снова ничего не сделает, *снова совсем ничего с этим не сделает*, то через пять, через десять лет, когда вернутся эти чувства – а они вернутся, – Марта горько пожалеет. Станет не просто слишком поздно – об этом даже неприлично будет думать. И вот тогда-то всё по-настоящему закончится.

Капля переполнила чашу, и что-то должно было случиться.

Она должна *что-то* сделать.

Старшая сестра одного из учеников ещё помнила, как хочется развлекаться в их возрасте, и успешно продолжала развлечения в своём. Старый дом, в котором она жила то одна, то с каким-нибудь парнем, за небольшую плату становился пристанищем для подростковых вечеринок, с единственным строгим правилом: к её возвращению привести дом в полный порядок. Своими силами и силами всех парней, которых она затаскивала в постель, сестра подремонтировала и отделала старую развалюху, украсив её и обставив по своему вкусу, превратив её в очень даже приличное жилище. Как нельзя более подходящее для периодических подростковых увеселений. Когда сестра ночевала у одного из парней, которых она подцепляла по всем деревенькам и городкам, словно навёрстывая упущенное в школьные годы, она скидывала в специальный чат сообщение. И тогда начиналась подготовка к вечеринке.

Повсюду стояли аромалампы и аромамасла. Шкаф был набит комплектами постельного белья, и главным пунктом уборки была спальня. Спать на том же белье после того, как там трахались подростки, пусть и заплатившие за это, в её планы не входило, как и нюхать вонь их пота и секса. Сестра получала деньги, непререкаемый авторитет среди школьников и гимназистов, полную уборку и проветривание дома.

Все были довольны. На этих вечеринках кроме разврата были алкоголь, лёгкие наркотики, диско-шар, блёстки, громкая музыка. Музыкальный центр, диско-шар и прочее купила сама сестра, где подростки брали наркоту, она не интересовалась.

А вот спиртное покупал им Сфинкс.

Древние египтяне использовали специальные ритуальные сосуды, чаще всего алебастровые кувшины, в которых хранились органы, при мумификации извлечённые из тел умерших. Внутренности очищали, промывали, затем погружали в четыре канопы, наполненные специальным бальзамом. Древнейшие из каноп были обнаружены в гробнице Хетеп-херес.

У Сфинкса тоже имелись четыре канопы, хотя он и не был мумифицирован, – по крайней мере снаружи. Вместо печени, желудка, кишечника и лёгких он хранил в них кое-что другое. В одной, самой красивой, – свои амбиции, планы и мечты. В другой, самой пыльной, – свою злость, ненависть и ярость. Эту канопу он никогда не открывал. В третьей – свои сожаления о несбывшемся и несбыточном, жалость к себе. Она была закрыта плотнее других. Последняя канопа была самой тяжёлой из всех. В ней лежал его долг, который он поклялся выполнить, а клятва для Сфинкса не была пустыми словами. Тяжёлым он был потому, что долг за спасение жизни невозможно оплатить. Сфинкс так долго ждал момента, когда он сможет открыть сосуд и сделать хоть что-то. Хоть что-нибудь, что могло бы дать шанс его сердцу уравновесить перо Маат.

Сегодня вечером этот момент настанет, но чаша весов опустится.

Только не политика.

Точно не она.

Камилле было всего шестнадцать, она ещё не знала, чем хочет заниматься в будущем, знала лишь, чем не хочет. В отличие от Марты Петерсен, весь мир, вся жизнь у Камиллы была впереди, и она иногда волновалась, достаточно ли она сильна для плавания в этом бескрайнем море. Хватит ли ей упорства, чтобы достичь своих целей? Хватит ли азарта? Она действительно так умна, как ей говорят? И нужно ли это вообще в современном мире? Камилла переживала о вещах, слишком серьёзных для её возраста. Её одноклассники наслаждались юностью во всех её проявлениях. Камилла же просто пыталась понять, что нужно сделать, чтобы не стать такой, как её мать, и тем более такой, как её отец. Что, если всё это уже заложено в её генах? Ей хотелось стать кем-то, кто мог бы изменить мир. Хотя бы капельку. Не шлюхой и не продажным политиком. Она занималась фортепиано и делала успехи, и хотя, конечно же, Урмас не считал, что это можно превратить в профессию, Камилла не переставала думать о том, что возможно всё. Когда в город приехал Аксель Рауманн, она окончательно в этом уверилась. Ей хотелось бы заниматься тем, что её воодушевляет, заставляет сердце биться чаще, приносит радость. Не только музыкой

– ей нравились плавание, литература, биология. Она делала успехи. Может, она станет знаменитым биологом, генетиком, открывшим новый ген или нашедшим уникальное лекарство. Или напишет самый проникновенный роман, покоривший весь мир. Или поедет на Олимпийские игры, чтобы проплыть стометровку быстрее всех. Когда Камилла смотрела на своих одноклассников, покуривавших за школой, ржущих над идиотскими видео в интернете, перебивающихся с двойки на тройку, ей становилось не по себе. Неужели они не видят? Действительно не видят, какими могут быть перспективы? Они могут стать кем угодно, стоит только захотеть.

Камилла хотела и была готова сделать всё, что в её силах, чтобы будущее, которое для неё наступит, было максимально приближено к дурацким мечтам. Мечтам, которые она, словно трейлеры к фильмам, смотрела почти каждую ночь, лёжа в постели. Она верила, что всё получится. Но бывали дни, когда ничто не могло её в этом убедить. И тогда глупости, которые она боялась совершать, казались чем-то само собой разумеющимся. Глупости не испортят будущее, которого нет. Ей нужно жить здесь и сейчас, и если так поступают её друзья, она должна смириться. Дать волю чувствам. Расслабиться. Сделать что-то запретное. Получить от этого удовольствие.

Позволить себе несколько ошибок.

Хотя бы одну.

Расмус Магнуссен проснулся весь в поту, запутавшийся в одеяле и сновидениях. Ему снилось, что он снова в тюрьме, только никто не говорит ему почему. В горле пересохло. Он скинул одеяло на пол и пошёл налить себе стакан воды.

Внимание Расмуса привлёк свет, загоревшийся в окошке дома Кристиана. Он не знал, сколько времени, но была ночь, это точно, а ещё точнее было то, что перед дверью его дома стояла женщина. Подумать только, Тинну, похоже, светил перепихон. Даже ему. Но только не Расмусу.

Ему никогда не найти подружку, уж точно не в этом городе, да и не в ближайших тоже. Да какую подружку – даже развлечение на одну ночь. Магнуссен – убийца, преступник, от которого отвернулись одни и бросаются прочь другие. Какая женщина в здравом уме позволит ему познакомиться с ней поближе? Единственной возможностью для Расмуса утолить многолетний голод было взять кого-то силой. Ведь преступление и насилие для них одно и то же.

Одно и то же ли это для него?

Кристиан открыл дверь, обнял свою бабу и завёл её внутрь. Сон Расмуса как рукой сняло. Он залпом выпил стакан воды и даже подумал, а не подойти ли к светящемуся окошку и не посмотреть ли, чем они там занимаются. Потом понял – просто посмотреть ему будет мало. Он закрыл глаза,

но было уже поздно. Болезненное возбуждение уже заползло в его тело.

Ему жутко захотелось выйти на улицу, постучаться в первый попавшийся дом, где ему откроет заспанная женщина в полупрозрачном пеньюаре, толкнуть её на широкую кровать, почувствовать себя мужчиной. Магнуссен предавался фантазиям, а потом с удивлением обнаружил, что стоит у выхода, держась за ручку двери. Где-то залаяла собака. Свет в окошке Кристиана стал приглушённое. Металл ручки жёг Расмусу ладонь.

Возможно, одних фантазий ему уже мало.

На очередном заседании городского собрания в зале горуправы, где присутствовали двенадцать депутатов из пятнадцати и Урмас, проходило второе чтение дополнительного бюджета города Локса на остаток года. Финансист-бухгалтер представил обзор дополнительных доходов, полученных от министерств и частных юридических лиц, и расходов, запланированных за счёт дополнительного бюджета. Расходы всегда превышали доходы, и Урмас считал это совершенно нормальным – но лишь в масштабе города, а не собственной семьи. Доходы Йенсенов обычно зависели от расходов города. Допбюджет был принят одиннадцатью голосами «за». Также продолжилось обсуждение плана развития и бюджетной стратегии на ближайшие несколько лет, которые с незначительными поправками были приняты почти единогласно. Муторнее всего для Урмаса было объяснять членам собрания причину необходимости внесения поправки в одно из предыдущих постановлений. Поправка позволяла получателю прожиточного минимума при рассмотрении вопроса о поддержке предполагать включение в постоянные расходы на жильё, подлежащие оплате в текущем месяце, также погашение кредита, взятого на приобретение жилья, до семи евро за квадратный метр. Урмас и кредиты на покупку жи-

лья были далеки друг от друга, как небо и земля, но хоть иногда надо же заботиться о своих жителях, простых и зачастую бедных. Показывать, что тебе не всё равно, на городском уровне.

По крайней мере делать вид.

Чувствуя, что на сегодня поработал как следует, Урмас предвкушал свою предстоящую приватную вечеринку в коттедже. Гибкие тела, готовность доставить ему удовольствие и обожание в глазах – такую поправку в стратегию своей жизни он был готов вносить как минимум еженедельно. Камилла тоже собиралась потусоваться с друзьями, о чём ему и заявила. Умение отдыхать у них в крови, подумал Йенсен. Они хорошенько развлекутся.

Нужно же себя как-то баловать.

Камилла никогда не была близка с отцом. Всей душой она стремилась к матери, они с ней были одним целым. С отцом найти общий язык никак не получалось. Наверное, потому, что ему это было не особенно нужно. Камилла не понимала почему – она видела, какие отношения с родителями у её одноклассников. С *обоими* родителями. Не у всех, конечно, но всё-таки.

Урмаса интересовала только политика. Когда ей было пять, десять лет, когда исполнилось четырнадцать – всегда. *Политика-политика-политика*. Камилла её ненавидела. Её притворство. Её всеядность. Её ненасытность. Урмас постоянно светился в СМИ – в местной газете, интернете, небольших телесюжетах об их городе. На всех фотографиях за последний год, где он появлялся в роли мэра, Камилла видела Урмаса Йенсена, но не своего отца. Искусственная улыбка, постановочные рукопожатия, алчный взгляд. Раз за разом, всегда одинаково. В этом человеке больше не было ничего от мужа Хельги, кроме часов. Теперь он носил их постоянно, они были видны на каждой фотографии. Красивые дорогие часы, которые мать подарила отцу на их годовщину пять лет назад. Что отец подарил маме, Камилла не могла вспомнить. Может быть, ничего. Он никогда не помнил важных дат, если только они не касались – естественно – политики.

Часы Камилле очень нравились. Тогда родители ещё были в её глазах любящими друг друга людьми. В её детских десятилетних глазах, любящих обманываться.

Отец уехал в свой дом, где развлекался с падкими на политические должности пустыми женщинами, выразив надежду, что Камилла тоже хорошенько развлечётся и не будет снова упиваться своей депрессией, ведь ей это совсем не идёт. Камилла выдвинула ящик комода, и в ней вспыхнула злость. Вот уж что ей совсем не шло.

Часы были на месте. Действительно, кто бы стал брать подарок умершей жены на потрапушки со шлюхами? Матовый металлический браслет, тёмно-синий, словно ночное небо, циферблат, серебряные стрелки и цифры, словно звёзды на нём. И главное – тончайшая гравировка на обороте корпуса:

Helga + Urmas

Но чему это было равно? Равно любовь? Равно Камилла? Почему мама не закончила фразу? Как бы ей хотелось спросить её. Почему она никогда не спрашивала?

Почему всегда становится слишком поздно?

Камилла гладила пальцем мамино имя, маленькие красивые букочки, так много теперь значившие. Жаль, что она не подарила таких часов своей дочери. Чаще всего Камилла была уверена, что мать больше не любит отца. Но когда задумывалась о таких вещах, неизменно задавалась вопросом: а лю-

била ли она ещё саму Камиллу? Чему было бы равно *Helga* + *Kamilla*?

Она так хотела хоть с кем-то быть чему-нибудь равной.

После того что отец тогда сказал ей за завтраком, пожирая бутерброды с форелью, Камилла поняла, что ненавидит не только политику. Ей не хотелось испытывать это чувство, но выбора ей не оставили. Её мать – мёртвая шлюха. Отца она ненавидит. Зачем вообще придумали родителей? Почему ей так больно?

Часы Камилла положила в карман пуховика. Они были дорогими, могли потеряться, но ей было всё равно. Она и сама потерялась. И всем было всё равно. Но, совершая ошибку, Камилла хотела, чтобы с ней было что-то от матери. Она бы такого не допустила, но её больше нет, лишь её имя, её репутация, её секреты, которые утягивали Камиллу на дно. Заходя в коттедж, Камилла будет сжимать часы в кармане изо всех сил.

Если Урмас так хочет, чтобы она развлекалась, именно этим она и займётся.

Если он считает, что она не такая, как мать, она докажет, что он ошибается.

Наверняка для этого ещё рано. Наверняка это не то, что ей действительно нужно. Наверняка Яан – не лучший вариант. Но сегодня Камилла собиралась подняться с ним на второй этаж, зайти в спальню, обитую деревом и пропахшую лаван-

ДОВЫМ МАСЛОМ, И ДАТЬ ЕМУ ТО, ЧТО ОН ТАК ДАВНО ХОЧЕТ.

Раннее осеннее утро освежало. Правда, для него это было скорее продолжением бессонной ночи, чем утром, но сейчас он по крайней мере чувствовал себя чуть более живым. Тишина, пасмурное – вечно, *вечно*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.